

II. Семья

Две тётки со стороны моей матери: тётя Розали и тётя Мариу. Последнюю мы называем «тётя»; не знаю почему, может быть, потому что она более ласковая. Я всегда вижу её широкий, белый и мягкий смех на её смуглом лице: она худая и довольно изящная, она — настоящая женщина.

Моя тетя Розали, старшая из них, огромная, немного сгорбленная; она похожа на кантора; она напоминает отца Жошара, пекаря, который по воскресеньям напевает вечерню и начинает петь гимны, когда мы идем Крестным путем. Она — мужчина в своей семье; ее муж, мой дядя Жан, не в счет: он довольствуется тем, что чешет маленькую бородавку, которая играет роль родинки на его морщинистом, натянутом, изможденном лице. — С тех пор я заметил, что у многих крестьян такие лица — хитрые, старомодные, острые; в их жилах течет кровь театра или двора, заблудившаяся в какой-то праздничный вечер или во время комедии в сарае или таверне, и они пахнут актером, бывшим дворянином, старым аристократом сквозь запахи свинарника и навоза: сжатые своим происхождением, они остаются хрупкими под ярким солнцем.

А муж старухи Мариу — настоящий пастух! Красивый светловолосый земледелец, пять футов семь дюймов ростом, без бороды, но с блестящими волосами на шее, круглой, тучной, золотистой; у него кожа цвета соломы, глаза как васильки и губы как маки; он всегда ходит с приоткрытой рубашкой, в желтом полосатом жилете, и его большая трехцветная шляпа из шенилла никогда не сходит с головы. Я видел таких богов полей в пейзажах художников.

Две тети со стороны отца.

Моя тетя Мели немой, — при этом болтливая, болтливая!

Ее глаза, лоб, губы, руки, ноги, нервы, мышцы, плоть, кожа — все в ней шевелится, болтает, спрашивает, отвечает; она засыпает вас вопросами, требует ответов; ее зрачки расширяются, гаснут; щеки надуваются, втягиваются; нос подпрыгивает! она трогает вас то тут, то там, медленно, резко, задумчиво, безумно; нет возможности закончить разговор. Нужно быть на месте, иметь знак на каждый знак, жест на каждый жест, ответы, остроту, смотреть то в небо, то в погреб, ловить ее мысль как можно, за голову или за хвост, одним словом, отдаваться целиком, в то время как с сплетницами, у которых есть язык, мы лишь прислушиваемся: ничто не болтливо, как глухонемой.

Бедная девочка! Она не смогла выйти замуж. Это было неизбежно, и она с трудом живет на доходы от ручной работы; не то чтобы ей чего-то не хватало, по правде говоря, но она кокетка, эта тетя Амели!

Надо услышать ее тихое ворчание, увидеть ее жесты, проследить за ее взглядом, когда она примеряет головной убор или косынку; у нее есть вкус: она умеет приколоть розочку к уху, и

подобрать ленту, которая лучше всего подойдет к ее лифу, рядом с сердцем, которое хочет заговорить...

Прабабушка Агнес.

Ее называют «блаженной».

Есть целый мир старых дев, которых так называют.

«Мама, что значит «блаженная»?

Моя мама ищет определение и не находит его; она говорит о посвящении Деве Марии, об обетах невинности.

«Невинность. Моя двоюродная бабушка Агнес олицетворяет невинность? Так вот как выглядит невинность!»

Ей уже за семьдесят, и у нее, наверное, седые волосы; я не знаю, никто не знает, потому что она всегда носит черную повязку, которая прилипает к ее черепу, как тафта; у нее, например, седая борода, пучок волос здесь, маленькая прядь, которая вьется там, и со всех сторон луковицы, похожие на смородину, которые, кажется, кипят на ее лице.

Точнее говоря, ее голова похожа на картофелину, обожженную сверху из-за черной повязки, а снизу — на брошенную картофелину; я нашла одну опухшую, фиолетовую, на днях утром под печью, которая была похожа на прабабушку Агнес, как две капли воды.

«Желания невинности».

Моя мама так хорошо себя ведет, но так плохо объясняется, что я начинаю верить, что быть блаженной — это нечистоплотно, и что им чего-то не хватает, или что у них чего-то слишком много.

Блаженные?

Их четверо, «блаженных», живущих вместе — не все с огненно-красными луковичками на коже цвета пепла, как у прабабушки Агнес, которая кокетка, но все с небольшими усами или бакенбардами, небольшими щечками и неизбежным ободком на голове, черным пластырем!

Меня туда посылают время от времени.

Это в конце пустынной улицы, где растет трава.

Прабабушка Агнес — моя крестная мать, и она обожает своего крестника.

Она хочет сделать меня своим наследником, оставить мне все, что у нее есть, — только не свою повязку на голове, надеюсь.

Говорят, она хранит несколько старых монет в старом чулке, и когда речь заходит о соседке, у которой на дне маслянки нашли мешок с эку, она хихикает про себя.

Мне не очень весело у неё, пока мы ищем её масленку!

В этой большой комнате темно — это что-то вроде чердака, поддерживаемого балками, которые выглядят как старые пробки, настолько они изъедены и заплесневелы!

Окно выходит во двор, откуда доносится запах выжженной грязи.

Мне нравятся только занавески на кровати — их достаточно, чтобы меня развлечь; на них нарисованы человечки, собаки, деревья, свинья; они нарисованы фиолетовым цветом на ткани, это один и тот же мотив, повторенный сто раз. Но мне весело рассматривать их со всех сторон, и я вижу, прежде всего, всевозможные вещи на занавесках моей двоюродной бабушки, когда я прячу голову между ног, чтобы на них посмотреть.

Охота — это и есть сюжет — кажется мне разноцветной. Еще бы! Кровь приливает мне к лицу; у меня в голове все как на дне бочки: это апоплексия! Я вынужден вытаскивать голову за волосы, чтобы подняться, и ставить ее ровно, как пустую бутылку. Молятся то тут, то там: «Аминь! Аминь!» — перед ревенем и после яйца.

Ревень — это основа обеда, который мне предлагают, когда я прихожу к благочестивой даме; мне дают один сырой и один вареный.

Я скребу сырой, который, кажется, пенится под ножом и на языке имеет ореховый вкус и холод снега.

Я с меньшим удовольствием кусаю то яйцо, которое приготовлено на огне грелки, которую тетя всегда держит между ног и которая является незаменимым предметом мебели для благочестивых женщин. — Восемь ног благочестивых женщин: четыре грелки — которые летом служат шкатулками для ниток, а зимой они переворачивают в них угли своим ключом.

Время от времени появляется яйцо.

Это яйцо вытаскивают из мешка, как лотерейный билет, и варят в скорлупе, бедняжка! Это настоящее преступление, яйцеубийство, ведь внутри всегда находится маленький цыпленок.

Я ем этот зародыш с благодарностью, потому что мне сказали, что не все его едят, что я обладаю редкостью, но без энтузиазма, потому что я не люблю недоразвитый зародыш в виде сухариков и цыпленка, которого едят ложечкой.

Зимой благочестивые женщины работают с шаром: они ставят свечу между четырьмя шарами, наполненными водой, что дает белый, короткий и яркий свет с золотыми отблесками.

Летом они выносят свои стулья на улицу, на порог, и плитки следуют за ними.

С зелеными повязками, розовыми лентами, булавками с жемчужными головками, с нитками, похожими на серебряные слюноотечения на букете, с видом богатого лифа, с болтливymi веретенами, вышивка — это маленький мир жизни и веселья.

Надо услышать, как он болтает на коленях кружевниц, на улицах благочестивых женщин, в жаркие дни, на пороге безмолвных домов. Шум улья или ручья, как только их становится всего пять или шесть, — а когда бьет полдень, наступает тишина!...

Пальцы останавливаются, губы шевелятся, произносят короткую молитву «Ангелус». Когда та, кто ее произносит, заканчивает, все меланхолично отвечают: «Аминь!» — и квадратики снова начинают болтать...

Мой дядя Жозеф, мой «тонтон», как я его называю, — крестьянин, ставший рабочим. Ему двадцать пять лет, и он силен, как бык; он похож на органиста: смуглая кожа, большие глаза, широкий рот, красивые зубы; очень черная борода, густая шевелюра, шея моряка, огромные руки, все покрытые бородавками, — этими знаменитыми бородавками, которые он чешет во время молитвы!

Он — член профсоюза, у него большая трость с длинными лентами, и он иногда берет меня с собой к Матери столяров. Мы пьем, поем, показываем фокусы, он берет меня за пояс, подбрасывает в воздух, ловит и снова подбрасывает. Мне и весело, и страшно! Потом я забираюсь на колени товарищам; я трогаю их метры и циркули, пробую вино, от которого у меня болит голова, ударяюсь о шедевры, опрокидываю доски и выбиваю себе глаз об их большие воротнички, царапаюсь об их серьги. У них есть серьги.

«Жак, тебе веселее с этими «господами из бакалавриата», чем с нами?

— О! нет!»

Он называет «господами из бакалавриата» учителей, профессоров, преподавателей латыни или рисования, которые иногда приходят к нам домой и все время говорят о колледже; в этот день мне величественно приказывают сидеть тихо, мне запрещают класть локти на стол, я не должен шевелить ногами, и я ем жир тех, кто его не любит! Мне очень скучно с этими господами из бакалавриата, а с плотниками я так счастлив!

Я сплю рядом с дядей Жозефом, и он никогда не засыпает, не рассказав мне сказок — он их знает полно, — а потом отступает, положив руки на живот. Утром он учит меня наносить удары кулаками и приседает, чтобы я мог бить его по большой груди; я пробую и удары ногами, но почти всегда падаю.

Когда я ушибаюсь, я не плачу, иначе мама придет.

Он уходит утром и возвращается вечером.

Как же я жду его! Я считаю часы, когда он уже скоро вернется.

После ужина он берет меня на руки и уносит в свою маленькую мастерскую внизу, где он работает на себя по вечерам, напевая песенки, которые меня веселят, и бросая мне в лицо стружки; я затушаю свечу, а он позволяет мне макать пальцы в его лак.

Иногда к нему приходят друзья, чтобы поболтать с ним, стоя с руками в карманах, прислонившись плечом к двери. Они дружат со мной, и мой дядя очень гордится: «Он уже знает все буквы. — Жак, назови алфавит!»

Однажды дядя Жозеф уехал.

Это была печальная история!

У мадам Гарнье, вдовы пьяницы, утонувшего в своей бочке, была племянница, которую она привезла из Бордо после той катастрофы.

Высокая брюнетка с огромными глазами, черными, совсем черными и горящими; она заставляет их двигаться, как я заставляю двигаться в кабинете разбитое зеркало, чтобы бросать блики; они катятся по углам, поднимаются к небу и уносят тебя с собой.

Говорят, я безумно влюбился в нее. Я говорю «кажется», потому что помню только одну сцену страсти, ужасной ревности.

И на кого?

На самого дядю Жозефа, который ухаживал за мадемуазель Селиной Гарнье, как-то ухитрился, я не знаю как, но в конце концов сделал ей предложение и женился на ней.

Любила ли она его?

Сегодня я не могу ответить на этот вопрос; сегодня, когда к мнению вернулся разум, когда время насыпало свой снег на эти глубокие эмоции. Но тогда — в тот момент, когда мадемуазель Селина выходила замуж, я был ослеплен страстью.

Она собиралась стать женой другого! Она отвергала меня, такого невинного. Я еще не знал, в чем разница между дамой и господином, и верил, что дети рождаются под капустой.

Когда я бывал в огороде, мне случалось пристально смотреть; я бродил среди овощей, думая, что и я тоже могу стать отцом...

Но все же я вздрагивал, когда тетя похлопывала меня по щекам и говорила со мной на бордоском диалекте. Когда она смотрела на меня определенным образом, у меня замирало сердце, как в тот день, когда на Бреюи я залез на ярмарочную качель.

Я был уже взрослым: мне было десять лет. Вот что я ей говорил:

«Не выходи замуж за моего дядю Жозефа! Скоро я стану мужчиной: подожди меня, поклянись, что будешь ждать! Это же для смеха, да? Сегодняшняя свадьба?»

Это было вовсе не для смеха; они действительно поженились, и оба уехали.

Я видел, как они исчезли.

Моя ревность не давала мне спать. Я услышал, как повернулся ключ.

Этот ключ скрутил мне сердце! Я прислушивался, я стоял на страже. Ничего! Ничего! Я почувствовал, что я потерян. Я вернулся в банкетный зал и пил, чтобы забыть.

С тех пор я не смел смотреть дяде Жозефу в глаза. Однако, когда он пришел к нам накануне своего отъезда в Бордо, он ни словом не обмолвился о нашей соперничестве и попрощался со мной с нежностью дяди, а не с обидой мужа!

Есть еще моя кузина Аполлония; ее зовут Полония.

Вот так называли свою дочь эти крестьяне!

Дорогая кузина! Высокая и медлительная, с глазами цвета барвинка, длинными каштановыми волосами, плечами цвета снега; свежая шея, которую пересекает блестящая чернота бархата, держащего золотой крест; нежная улыбка и протяжный голос, становящийся розовым, как только она смеется, и красным, как только на нее смотрят. Я пожираю ее глазами, когда она одевается — не знаю почему — я чувствую себя странно, глядя, как она зубами удерживает и подтягивает на круглое плечо сползающую рубашку в те дни, когда она спит в нашей маленькой комнате, чтобы первой оказаться на рынке со своими твердыми и белыми кусками масла, похожими на мидии, которые у нее на груди. Масло из Польши у нас скупают.

Иногда она подходит, чтобы пощекотать мне шею, угрожая мне своими длинными пальцами. Она смеется, ласкает меня и целует; я обнимаю ее, защищаясь, и однажды укусил ее; я не хотел ее кусать, но не мог удержаться от того, чтобы стиснуть зубы, так как ее кожа пахла малиной... Она крикнула мне: «Маленький злодей!» — и слегка ударила меня по щеке, чуть сильнее, чем следовало; я подумал, что сейчас потеряю сознание, и вздохнул, отвечая ей; я чувствовал, как сжимается грудь, а взгляд становится мягче.

Она ушла, чтобы снова улечься в постель, сказав, что простудилась. Сзади она похожа на белого жеребенка, на котором ездит сын префекта.

Я думал о ней всё время, пока делал домашнюю работу.

Иногда я долго её не вижу — она присматривает за домом в деревне, а потом вдруг появляется однажды утром, словно порыв ветра.

«Это я, — говорит она, — я приехала за тобой, чтобы отвезти тебя к нам! Если ты хочешь поехать!»

Она целует меня! Я трусь мордой о ее розовые щеки и погружаю ее в ее белую шею, провожу по ее горлу с синеватыми прожилками!

Все тот же запах малины.

Она отправляет меня, и я бегу собирать свои вещи и переодевать рубашку.

Я надеваю зеленый галстук и краду у мамы мазь, чтобы и я пахнул хорошо, и чтобы она прижалась головой к моим волосам!

Мой узелок готов, я намылен и в галстук: но, глядя на себя в зеркало, я нахожу себя совсем уродливым и снова взъерошиваю волосы! Я засунул галстук на дно кармана и, с расстегнутым воротником и сползшей кепкой, бегу за еще одним поцелуем. Мне было щекотно; я ей не говорил.

Конюх хлопнул по крупу лошади, желтой лошади с клочками шерсти у копыт; это лошадь моей бабушки Мариу, на которую садятся, когда нужно перевезти слишком много масла или продать голубой сыр. Животное идет рысью та-та-та, та-та-та! совсем напряженно; кажется, что у нее сейчас сломается шея, а грива цвета мха спадает на ее большие глаза, похожие на овечьи сердца.

Тетя или кузина садятся на нее, как мужчины; икры моей тети худые, как черные веретена, а у кузины кажутся пухлыми и мягкими в белых шерстяных чулках.

Давай же! Хо, хо!

Это Жан дергает за поводья и заставляет лошадь поворачивать; он получил свою порцию овса и ржет, поджимая губы и показывая желтые зубы.

Вот он уже оседлан.

«Подайте мне Жакено», — говорит Польша, которой удалось опустить на колени свою юбку из футана и устроиться всем телом на блестящей коже седла. Она помогает мне сесть на крупу.

Я на месте!

Но тут мы замечаем, что я забыл свою одежду, свернутую в тряпку, на столе в таверне, покрытом кругами от вина, вокруг которых кружат мухи.

Ее приносят.

«Жан, привяжите ее. Мой маленький Жакену, обними меня за талию, крепко прижмись ко мне».

У бедной лошади сухая шерсть и твердые кости; но в этот момент я понимаю, что то, о чем говорится в басне, которую нас заставляют рассказывать, — правда.

Бог делает то, что делает, не зря!

